

18+

Арабский альбом

Четырнадцатистишия в мировой поэзии



Леонид Фокин

Леонид Фокин

**Арабский альбом.
Четырнадцатистишия
в мировой поэзии**

«Издательские решения»

Фокин Л.

Арабский альбом. Четырнадцатистишия в мировой поэзии /
Л. Фокин — «Издательские решения»,

Издание представляет читателю малоизвестный в России корпус арабской поэзии (более 70 авторов от Атлантики до Междуречья, от доисламской древности до наших дней), уникальный гибрид антологии арабской поэзии, эссеистики, философской прозы, авторских стилизаций в восточной манере. В основе проекта «Четырнадцатистишия в мировой поэзии» — идея культурного диалога и жанровый полифонизм как способ постижения арабской поэтики.

© Фокин Л.

© Издательские решения

Содержание

АРАБСКИЙ АЛЬБОМ	6
ПТИЦЫ НА ШЁЛКЕ (1)	7
ЧЁТКИ ИЗ ПЕСКА (1)	13
Аль-ГУРАБИ. Дважды живой, трижды мёртвый	13
Саид аль-ХАЗИНИ. Поэт двух миров: между арабским Востоком и христианским Западом	16
Ашраф аль-ИШБИЛИ (1314—1351)	19
Притча о зеркале мавританской принцессы	23
Притча о купце и медном кувшине из Феса	24
МАРОККО	25
Фес. Последний водонос	26
Фес. Шагренева кожа	27
Касабланка. Португальская крепость	28
Касабланка. Город плоских крыш	29
Танжер. В кафе «Париж»	30
Марракеш. Вилла Мажорель	31
Рабат. Звуки города	32
Тетуан. Город слепленный из облаков	33
Мекнес. Головоломка тариката	34
Агадир. Ожидание землетрясения	35
Агадир. Обретение знания	36
Уджда. Бродячие музыканты	37
Притча о купце и глиняном кувшине из Феса	38
Притча о купце и тени финиковой пальмы	39
ИХВАН АЛЬ-АВДА	40
Ибн Хазм ас-САБТИ (1435—1507)	41
Абу-ль-Хасан ас-САНИ (1448—1527)	42
Дакик аль-ХАДИД (1510—1558)	44
Яхья Аль-МУТАРАДЖИМ (1601—1688)	45
Притча о мудреце и скорпионе, или почему зло остается злом, даже если ему протянуть руку, полную света	47
Притча о купце, который купил ветер	48
ПТИЦЫ НА ШЁЛКЕ (2)	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Арабский альбом

Четырнадцатистишия в мировой поэзии

Леонид Фокин

Составитель Леонид Фокин

Корректор Инна Ищенко

Редактор Полина Мельникова

Дизайнер обложки Леонид Фокин

Переводчик Леонид Фокин

© Леонид Фокин, 2026

© Леонид Фокин, составитель, 2026

© Леонид Фокин, дизайн обложки, 2026

© Леонид Фокин, перевод, 2026

ISBN 978-5-0070-1284-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

АРАБСКИЙ АЛЬБОМ

Читатель, привыкший к тому, что поэтическая антология — это нечто упорядоченное по хронологическому принципу, где каждый автор занимает строго отведённую ему клетку в заранее заготовленной шахматке, а пер переводчик скромно прячется за спинами мэтров, почти-тельно указывая на их значимость, — такой читатель поначалу растеряется, открыв «Арабский альбом», поскольку в нём всё устроено иначе, вызываяще иначе: поэты Золотого века ислама соседствуют с авторами XXI века, выходцы из Марокко — с поэтами из ОАЭ, причём никакого иерархического порядка не соблюдено, т.к. цель была не в том, чтобы выстроить экспозицию, а в том, чтобы создать живой, дышащий, противоречивый портрет того, что называется «арабской душой». «Арабский альбом» — это книга в серии «Четырнадцатистишия в мировой поэзии», идея которой была сформулирована в конце прошлого века, когда никто не мог предсказать, ни как будет выглядеть мир после двухтысячного года, ни тем более — каким образом эти тексты, долгие годы хранившиеся в черновиках, доберутся до читателя. И если сегодня эти страницы открываются взору современника, то происходит это не потому, что время сделало их более актуальными (время вообще редко делает что-либо более актуальным, чаще — наоборот), а потому, что выбранная форма оказалась удивительно удобной для передачи того состояния, которое арабы называют «хайрат» — растерянности перед бесконечностью, смешанной с восторгом. Именно эта растерянность и этот восторг присутствуют в творчестве авторов текстов, вошедших в альбом, и русского автора, чьи статьи перемежаются с притчами и афоризмами, создавая эффект жанрового мерцания, когда читатель уже не может сказать с уверенностью, где кончается поэзия и начинается философия, где — филология, а где — вздох человека, который посмотрел на закат в пустыне и понял, что слов для этого заката не существует, но всё равно пытается их найти.

ПТИЦЫ НА ШЁЛКЕ (1)

.

Горсть пепла ветер смёл. Закат. Рассвет.
Горсть пепла ветер смёл. В чём был секрет?
О, мыслей рой, вы жалите, как пчёлы.
Горсть пепла ветер смёл. А счастья нет.
Любовь прошла, оставив боль. Скажи мне:
Кто наложил на радости запрет?..
Уставший виночерпий, всё, что можешь, —
Налить вина мне... Это ли ответ?
Зачем мне мудрость дервиша и пламя,
В котором прогорели сотни лет?
Зачем мне небо, если в нём лишь ворон?
Зачем земли цветущий горицвет?..
Холодный дом, очаг давно остывший.
Горсть пепла ветер смел. Где тень? Где след?

Муса Бен Юнус ИСМАИЛ

НАЗИРА (Подражание на газель Л.Ф.)

Горсть пепла ветер смёл... Закат. Рассвет.
След праха ливень смыл... В чём был секрет?
О, мыслей рой, что жалят словно пчёлы,
Мёд мудрости прогорк... Где Знаний свет?
Любовь прошла насквозь... Как сердцу больно!
Повязкам ласк кто наложил запрет?
Зачем мне хырка шейха и сильсия,
В которых заплутали сотни лет?
Зачем мне небо, если в нём нет Солнца?
Зачем мне без Земли парад планет?
Бессмертный Виночерпий, что Ты можешь?
Налив ещё вина, молчать в ответ?
Согреет ли Мусу очаг остывший?
Огонь иссяк в золе... Где тень? Где след?

Куда бежать? Не скажет ветер мне,
Когда вокруг меня — то, что во мне:
Лишь тьма, беззвучье, пустота, бездонность,
А свет — убогий странник в той стране.
И я — убогий странник в междустрочь,
Не вспоминая о прошедшем дне.

Ищу своё потерянное слово,
В людской преображаясь толкотне.
Разглядываю хитрые узоры
На сотканном искусно полотне,
Рисунок райских птиц набит вручную,
А яздский шёлк — как будто в рыжей хне...
За них отдам вечерние туманы
И вздоха три к объявленной цене.

.

Моя душа — смоковница в огне.
Моя душа — ночь тёмная в окне,
Ручей до дна промёрзший у дороги.
Моя душа... Зачем такая мне?

Уставший путник не находит крова,
Но вся его печаль — о новом дне.

Моя душа — звезды сгоревший пепел,
Рисунок детский мелом на стене,
Моя душа — несказанное слово
О приходящем в этот мир извне.

Качается пушинкой золотою
На медленной, невидимой волне.
Душа моя, ты — странное виденье,
Стократно повторённое во сне...

.

На зимний лес наброшен солнца шёлк,
Остался слышен только перещёлк
Птиц и коры. О, счастье, сказку дайте
На время ускользающее, в долг.

Вся маята, гул улиц, серость зданий,
Весь этот шум хочу, чтоб просто смолк.
Чтоб встали белые дворцы Шираза
На твердь земную из небесных толщ.
И пусть несёт вечерние дозоры

В тюрбанах снежных стройных елей полк.

Я говорю, забывшись, с Афраатом,
Хочу понять: а есть ли в жизни толк?..
Мы пьём вино из Язда, из Гиляна,
Пока на мир наброшен ночи шёлк.
.

Кто даст мне руку в час моих сомнений?
Кто даст мне руку в дни моих лишений?
Заката час — час скорби. Кто поймёт
Мои печали в мире отражений?

Гончарный круг похож на круг луны.
Кто месит глину? Чьи вернулись тени
По тонким тропам в тёмные сады,
К знакомым шорохам ночных селений,
В дом у горы, похожей на седло,
У озера, в чьих водах глубь вселенной
Теряется, не в силах лечь на дно?

О, сколько же из прошлого видений
Стучится веткой яблони в окно,
Не помня боль былых прикосновений.
.

Она зовёт в бесплодные поля.
Она зовёт... Холодная земля,
Земля дождей, земля травы поникшей.
Она зовёт, то воя, то скуля.

Она зовёт идти за тёмной тучей,
О всём забыв, не веря, но моля,
Напоминая мне о доле лучшей
В бесцветном небе криком журавля,
Недолгим предсказанием кукушки,
Упрямым соло на цветке шмеля,
Орешником засохшим у опушки.
Мои виски, как белый снег, беля,
То делая мудрей, а то безумней, —
Уже на всё согласного меня.

Осенний ветер гонит листьев стаю.
Спроси: куда? Ответит он: не знаю.

Взметнул охапку листьев вверх — и стих.
Спроси: зачем? Ответит он: не знаю.
Вот так и я пишу свой новый стих,
Осенние слова с ветвей срываю,
Куда-то их тащу сквозь боль, сквозь тьму.
Одни храню, другие забываю.

Ответственен ли я за их судьбу?
Что им дарю, чего я их лишаю?
Осенний ветер дарит мне суму,
Подталкивая незаметно к краю...

...И чувствую, что с листьями лечу.
Спроси: куда? Отвечу: я не знаю.

Когда-то было легче пить вино,
Смотреть в окно, но то окно
одно —
Твои глаза. Вверху — любви бездонность,
Внизу — тоски заиленное дно.
Курлы-курлы из журавлиных стонов
Скручу струну для чанга, заодно
Найду слова для самой тихой песни,
Чтоб петь её, когда в душе темно,
Чтоб утолять ей свой сердечный голод,
Пока её звучание хмельно,
Встречать бессонно зимние рассветы,
Разгадывать, чем всё завершено.
Кувшин опустошён, осталось только
На белом шёлке алое пятно.

Тебе он в радость... Тусклый свет луны
В ночной оправе золотой листвы,

А для меня он — боль, на сердце рана.
Тебе он в радость?.. Тихий плеск волны.

Зарос худой травой пологий берег,
Каким он был, не помню в дни весны,
Какие птицы вили в кущах гнёзда,
Как на крыло вставляли их птенцы.

Во мне не память — скверная старуха,
Ей все мои проступки учтены...
В пыли тысячедневной тонут книги,
Моих стихов дворцы разорены.

Тебе он в радость?.. Час моей печали,
Высокий звук порвавшейся струны?..
.

Наполню чем тетради белый лист,
Когда день проходящий сер и мглист?..
Что передам, его насытив эхом
Своих раздумий? Как же вяз ветвист!

Зачем так много слов, семян засохших,
Когда над ними соловьиный свист
Раскачивает золотые рощи...
Наполню чем тетради белый лист?..
Кто доказал мне: всякий путь конечен?..
Кто мне поведал: всякий путь тернист?..
Я приручал зачем-то вольный ветер,
Один в бескрайнем поле был речист,
Я сам себя перекроил стихами...
О, как давно тетрадный лист
был чист...
.

Быть понятым — встать вровень с тем, кто рядом...
В осенних листьях — мокрая ограда.
За ней, едва заметный, старый храм
И в жёлтом — псалмопевцы, сливы сада.

Их пение я слышу по утрам,
Когда забыты прежние утраты.
Их пение звучит по вечерам,
В спустившейся с туманами прохладе.

То тихо прижимается к домам,
То где-то далеко, то снова рядом,
То вдоль реки таится в камышах,
То поднимается к гусиным стаям,
Летящим вдаль, за тридевять земель,
К небесным ликам в солнечных окладах.

.

За годом год. За осенью — зима.
Днём в порошок растёрта куркума...
Цветение её забыл, не помню,
И в окнах оттого всё гуще тьма.
В глубоком сне — огни каменоломни,
Тень сто восьмого тихого псалма,
Сосновые засохшие иголки
И мокрой паутины бахрома.
Жизнь — это дар... Сгорела и умолкла
Ещё одна страница, часть письма,
Наверное, о том, что было больно,
Когда любовь вдруг сделалась нема,
Когда под сердцем задрожал осколок,
Не убивая, а сводя с ума.

ЧЁТКИ ИЗ ПЕСКА (1)

Аль-ГУРАБИ. Дважды живой, трижды мёртвый

В контексте средневековой арабской литературы, где канонизированные имена — такие как Аль-Мутанабби или Аль-Маарри — доминируют в исследовательском поле, фигуры второстепенные часто остаются за пределами академического внимания. Однако именно эти «полустертые» из памяти традиции авторы позволяют выявить те структурные противоречия и семиотические сдвиги, которые характеризуют переход от классической поэтики аббасидского периода к позднесредневековым формам выражения.

Аль-Гураби (1150—1218), чьё творчество, судя по fragmentary mentions в хрониках Ибн Халликана и антологиях XIII века, существовало на периферии литературного процесса, но при этом отражало ключевые тенденции эпохи: синтез суфийской образности с придворной панегирической традицией, а также постепенную трансформацию касыды под влиянием персидских метрических экспериментов.

Автобиографические данные Аль-Гураби, сохранившиеся в составе единственной рукописи «Табакат аш-шуара аль-мутааххирин» (XIV в.), носят характер топосов, типичных для средневекового жизнеописания: рождение в Басре — городе, уже утратившем былую славу интеллектуального центра, но сохранившем статус символа культурной памяти; обучение у «последних муджаннов» (бродячих поэтов-импровизаторов); скитания между Дамаском и Каиром в поисках покровительства.

Примечательно, что его имя отсутствует в списках придворных поэтов Салах ад-Дина, хотя тематика его касыд (например, «Ода на взятие Иерусалима», 1187 г.) косвенно указывает на связь с айюбидскими кругами. Вероятно, он принадлежал к слоям «полупризнанных» авторов, чьё творчество существовало в межстилевом пространстве — между официальной панегирикой и суфийскими поэтическими практиками, что объясняет его маргинальное положение. Ключевой парадокс его биографии — упоминание в суфийских источниках как «аль-Шаир аль-маджзуб» («поэт, одержимый божественным»), тогда как светские хроники акцентируют его участие в литературных диспутах при дворе Мосула. Это противоречие может быть интерпретировано через концепцию «культурного двуязычия»: Аль-Гураби вынужден был кодировать мистические идеи в формах, приемлемых для светской аудитории.

Я дважды жив и я же трижды мёртв —
Боль сердца между холодом и жаром.
О, если б в страсти зрячим был мой взгляд,
О, если б смерть была небесным даром!
Бесчисленных ночей бессонный плач —
Что речь моя висящим в небе звёздам?
Услышит ли кто шёпот мой, иль ветер
Развеет слов печаль в песках времён?
Когда б потоки слёз могли вернуть
Богатство дней, истраченных напрасно,
Я б тьму с лица столетий смысл волной,
В долину пепла смёл свои несчастья.
Но смог бы я, забыв тревог пути,
Быть терпеливым в вечности, как Ты...

Забудь, что было глиной, что — песком,
Для фиников мешком, гнилым мостком,
Пока река несёт в ладонях синих
Лет миражи, небесные пустыни.
Душа — не пыль, а световая нить,
Ей не дано в небытие сойти,
Быть тенью, что скользит по коридору
Пустого медресе, ковров узору.
Забудь, что было песней, что — огнём,
Каким был раньше смех, каким был дом,
Пока река несёт в ладонях синих
Снег облаков, цветущие долины.
Не воскресить минувшего, поверь,
Печаль — плохой целитель для потерь.

Два дошедших до нас стихотворения Аль-Гураби, сохранившиеся в разрозненных антологиях позднего средневековья и лишённые устойчивой атрибуции, представляют уникальный случай семиотической нестабильности, когда текст, с одной стороны, вписывается в систему литературных конвенций своей эпохи, а с другой — демонстрирует признаки сознательного нарушения этих конвенций, что позволяет рассматривать его как продукт «культурного взрыва» — момента радикального переосмысления традиционных кодов.

Первый текст, формально принадлежащий к жанру газели, но содержащий элементы суфийской символики, построен на сложной системе оппозиций («живой — мёртвый», «пламя — холод», «слёзы — звёзды»), которые, будучи топосами арабской лирики, приобретают характер не столько риторических фигур, сколько элементов мистической семиотики, когда каждое понятие существует одновременно в двух планах — буквальном (внешнем) и эзотерическом (внутреннем). Так, начальная строка «Я дважды жив и я же трижды мёртв» может быть прочитана и как гиперболизированная метафора любовного страдания (в духе узайритской традиции), и как отсылка к суфийской концепции «фана» — растворения в Божественном, предполагающего символическую смерть эго.

Второй текст, ещё более загадочный в своей лаконичности, отказывается от классической касydной структуры, но при этом сохраняет присущую арабской поэзии метафорическую насыщенность. Его ключевой мотив — преодоление материального («глина», «песок») в пользу духовного («свет», «звёзды») — коррелирует с неоплатоническими идеями, проникшими в арабскую мысль через суфийские круги, но выраженными здесь не в дидактической, а в лирически-импрессионистической манере. Сопоставление этих текстов с известными образцами арабской и персидской поэзии XII—XIII вв. выявляет их промежуточное положение между традицией и новаторством. Так, мотив «слёз, превращающихся в звёзды» (в оригинале: «И слёзы, что ты тайно проливал, / Быть может станут звёздами в ночи») встречается у Низами, но у Аль-Гураби он лишён персидской живописности, приобретая почти аскетическую строгость. Это позволяет предположить, что перед нами — не прямое заимствование, а результат адаптации персидских образов в арабской поэтической системе, что характерно для эпохи культурного двуязычия после сельджукских завоеваний.

Примечательно, что оба текста отсутствуют в основных антологиях XIII—XIV вв., что ставит вопрос об их статусе: были ли они отвергнуты современниками как маргинальные или же сохранились случайно, благодаря суфийским кругам, менее строгим в вопросах канона? Упоминание Аль-Гураби как «поэта, одержимого Божественным» в суфийских источниках

может указывать на то, что его тексты циркулировали в узких эзотерических кругах, в которых ценилась не формальная изощрённость, а глубина символического подтекста.

Поэтические тексты Аль-Гураби предстают как попытка синтезировать два противоречащих друг другу дискурса: придворной поэзии, требующей соблюдения формальных норм, и суфийской лирики, стремящейся к их трансценденции. В этом смысле строка «Душа — не прах, а тонкая лоза» может быть интерпретирована не только как мистический афоризм, но и как метапоэтическое высказывание: Аль-Гураби, подобно этой «лозе», пытается прорасти сквозь жесткие рамки канона, не разрушая их, а переосмысливая их изнутри.

Оба стихотворения, несмотря на их лаконичность, наглядно показывают наложение друг на друга различных традиций — от доисламской касыды до персидского мистицизма. Их маргинальное положение в истории литературы не умаляет их значения, а, напротив, делает их ценными свидетельствами переходной эпохи, когда арабская поэзия, оставаясь верной своим корням, начала впитывать новые влияния, предвосхищая будущий синтез культур. Тексты Аль-Гураби — не забытые фрагменты прошлого, а семиотические «капсулы», сохранившие в себе энергию культурного перелома.

Саид аль-ХАЗИНИ. Поэт двух миров: между арабским Востоком и христианским Западом

В конце XII века, когда Аль-Андалус, пережив краткий расцвет при Альмохадах, вступал в фазу необратимого политического распада, а христианская Реконкиста неумолимо сдвигала границы мусульманского мира к югу, в тени больших исторических катаклизмов творили поэты, чьи имена не были вписаны в канонические антологии ни Востока, ни Запада. Среди них — Саид аль-Хазини (1172—1208), чьё творчество, сохранившееся в разрозненных цитатах у позднейших комментаторов, представляет синтез суфийской созерцательности, куртуазной лирики и политической сатиры, характерной для эпохи, когда поэт уже не мог рассчитывать на покровительство эмиров, поглощенных междоусобицами. Его жизнь реконструируется фрагментарно: упоминания у андалусского историка Саид аль-Хазини, две цитаты в «Антологии придворных поэтов» XIII века, а также косвенные аллюзии в переписке еврейского поэта Иегуды Алхаризи, который, путешествуя по Испании, отмечал «странного старца из Гранады, чьи стихи звучат как плач по утраченному раю». Родившись в Гранаде, Саид аль-Хазини принадлежал к семье мелких землевладельцев, разоренных налогами Альмохадов; его юность пришлась на период жесткой исламизации при халифе Абу Юсуфе Якубе аль-Мансуре (1184—1199). После 1195 года, когда Альмохады потерпели поражение при Лас-Навас-де-Толоса, он скитался по Валенсии и Севилье, пытаясь найти покровителя среди местных правителей, но к 1209 году, разочаровавшись, удалился в суфийскую обитель близ Ронды, где, вероятно, и умер в неизвестности.

Саид аль-Хазини исчез из литературной памяти по трём причинам: 1) Политическая маргинальность. Его критика Альмохадов и ностальгия по Омейядам сделали тексты неудобными для обеих эпох. 2) Разрушение культурных центров. Рукописи хранились в Севилье, разграбленной в 1248 году. 3) Конкуренция с еврейскими поэтами. В тот же период творили Моше ибн Эзра и Иегуда Алхаризи, чьи произведения, благодаря межконфессиональным связям, сохранились лучше. При этом его влияние прослеживается в творчестве более поздних авторов: например, мотив «сада как руин» встречается у Ибн аль-Хатыба (XIV век), а строфика мувашшахов с романскими элементами предвосхищает творчество христианских трубадуров.

Саид аль-Хазини — забытый поэт — «знак эпохи», когда литература, лишённая устойчивых институтов покровительства, превращалась в частный дневник утрат. Его судьба иллюстрирует парадокс андалусской культуры: будучи порождением синтеза арабского, берберского и романского миров, она так и не создала механизмов для сохранения маргинальных голосов, которые, однако, и были наиболее искренними.

Прилив принёс обломки старой шхуны,
Отлив унёс ответы «для чего?».
О чём шумит прибой и шепчут звёзды? —
Жизнь — краткий миг, в нём всяк пред бездной гол.
Покоя нет в пучине вечной грёзы.
Вселенная не терпит суеты.
О чём поёт скворец и плачут звёзды? —
Жизнь — миг, а смерть легко сотрёт следы.
«Где кормчий?» — Время скрыло в бездне чёрной,
Его надежды, страхи и тоску,
Прилив принёс обломки старой шхуны
И тени их в дар белому песку.
О, если б взор сквозь тьму пробился жгучий,

Ответом осветив волны строку.

Переплетения средневековой андалузской поэзии арабо-мусульманской мистической традиции с античной философской рефлексией создавало уникальный семиотический универсум, стихотворение Саида аль-Хазини предстаёт как сложноорганизованный текст, в котором взаимодействуют несколько уровней смыслопорождения: от буквального до сокровенного, от миметического изображения природных явлений до их символического преображения в метафизический дискурс. В начальных строках — «Прилив принёс обломки старой шхуны, / Отлив унёс ответы „для чего?“» — обнаруживается диалектика прихода и ухода, бытия и небытия, выраженная через природный ритм, который, будучи архетипическим знаком временности, отсылает к суфийской концепции «фана» (исчезновения) и «бака» (пребывания в Боге). Обломки шхуны, выброшенные на берег, маркируют не только следы исчезнувшего корабля-жизни, но и фрагменты человеческого знания, которое, будучи унесённым отливом, превращается в недостижимую тайну («ответы „для чего?“»). Этот мотив утраты, сопряжённый с вечным вопросом о цели существования, восходит к кораническому «Куда бы вы ни обратились, там Лик Аллаха» (2:115), но переосмысливается поэтическим языком, в котором море становится символом божественного непознаваемого (al-ghayb), а берег — пределом человеческого понимания.

Далее, в строке «О чём шумит прибой и шепчут звёзды?», возникает мотив «языка природы», характерный для суфийской натурфилософии, в которой элементы мироздания знаки, требующие более глубокого истолкования. Шум прибоя и шёпот звёзд превращены в элементы универсального симфонического текста, в котором каждая вещь свидетельствует о трансцендентном. Ответ же, данный в следующей строке — «Жизнь — краткий миг, в нём всяк пред бездной гол» — не столько утверждает фатальную краткость существования, сколько актуализирует суфийскую идею «нищеты» твари перед лицом Вечности: человек «гол» не только в смысле экзистенциальной обнажённости, но и в смысле отказа от иллюзорных облачений мирского, чтобы предстать в истинной нагоде перед Творцом.

Образ «пучины вечной грёзы» (ghamrat al-ulm al-azal) требует особого внимания. В нём сливаются мотивы моря, сна и вечности — ключевые для суфийской поэтики. «Грёза» в арабской традиции может означать как сон, так и иллюзию, что отсылает к кораническому сравнению мирской жизни с «игрой и забавой» (6:32), но также и к платоновской концепции мира как тени истинной реальности. Вселенная, которая «не терпит суеты», предстаёт как строгий онтологический порядок, в котором человеческая метания — диссонанс, нарушающий гармонию предустановленного божественного закона.

Второе вопрошание — «О чём поёт скворец и плачут звёзды?» — усиливает мотив вопрошания к миру, но теперь уже с акцентом на звучании (пение птицы) и слёзности (плач звёзд), что вводит в текст тему страдания как неотъемлемого свойства тварного бытия. Ответ же — «Жизнь — миг, а смерть легко сотрёт следы» — звучит ещё более фатально, чем предыдущий, — если в первой части стихотворения бездна была метафорой небытия, то здесь утверждается полная эфемерность человеческого следа, что перекликается с суфийским учением о «несуществовании» всего, кроме Бога.

Кульминацией текста становится вопрос «Где кормчий?», который можно интерпретировать как поиск духовного наставника (murshid) или же самого Бога как истинного Правителя. Однако ответ — «Время скрыло в бездне чёрной» — указывает на невозможность обретения кормчего в пределах временного континуума, поскольку время предстаёт как поглощающая сила, аналогичная античному Хроносу или кораническому описанию «всё погибнет, кроме Его Лица» (28:88).

Финал стихотворения — «О, если б взор сквозь тьму пробился жгучий, / Ответом осветив волны строку» — содержит в себе мольбу о прорыве к истине, где «жгучий взор» симво-

лизирует мистическое озарение, а «волны строку» — ткань бытия, которая, будучи прочитанной как божественный текст, могла бы дать окончательный ответ. Однако сама вопросительная форма («О, если б...») оставляет этот порыв нереализованным, что соответствует суфийской эстетике «недосказанности», где истина всегда остаётся за гранью слов.

Стихотворение Саида аль-Хазини может быть прочитано как многослойный семиотический объект, в котором природные образы становятся знаками метафизических категорий, а ритмическая структура (чередование прилива и отлива, вопросов и ответов) моделирует динамику духовного поиска, обречённого на вечное вопрошание перед лицом безмолвной вечности.

Ашраф аль-ИШБИЛИ (1314—1351)

КОВРОВЫЙ САД

Мой коврик для молитвы — это сад,
В нём что не ветвь — божественный аят.
Не покраснеет от стыда куст розы,
Но вспыхнет он, как Истины закат.
И соловей, что плачет на рассвете,
Любви певец, и он же — ар-Раад.
Я поклоняюсь, пав лицом на травы,
Очистить мысли их росой я рад,
Увидеть свет, не знающий пределов,
И им наполнить свой уставший взгляд,
И насладиться верностью сыновней,
Прийти со всем, что было прежде, в лад.

Ашраф, конец молитвы. Сад из сердца
Ушёл, оставив в сердце — виноград.

СТАРЫЙ ВИНОЧЕРПИЙ

О, старый виночерпий, я давно
Всем сердцем полюбил твоё вино.
В твоём кувшине — тысяча закатов,
А утро долгожданное — одно.
Не спрашивай, зачем я снова пьяный,
Мне трезвым видеть то, что есть, — грешно.
Реальность — испытанье, разве можно
Подняться в небеса, ступив на дно?
Пока я пью, я странствую по свету,
И боль, и страх, всё преодолено.
Уж лучше так болеть и тратить время
Распахивать в цветущий сад окно.

Ашраф, твой ум он тоже — виночерпий,
Разбей кувшин — и станет вновь темно.

НОЧНАЯ ПТИЦА

Ночная Птица, ночь поёт одна.
Когда приходит мгла, не знает сна.
То сорванный с ветвей чинары голос,

То дрожь струны — на миг и тишина.
Царь не одарит золотою клеткой,
И не накормит щедрая жена.
Не о любви поёт, а о печалях,
О том, что только тьме она верна.
И в этом крике, в чёрном океане,
О скалы ночи бьётся плач-волна.
Ночная птица, будь мне верным другом
На все судьбой мне данные года.

Ашраф, не спи! В ночи поёт душа,
И если ты уснёшь — умрёт она.

.

ПЫЛЬ НА ВЕТРУ

Я — пыль на той дороге, где прошла
Моя любовь. Меня с ума свела,
Когда в полудне знойном караваны
Бредут. Я — звон разбитого стекла.
Я — след от губ на чаше, полной неги,
Но сердце каждый вечер жажда жгла.
Я — горлиц крик, пронзающий рассветы,
Из снов моих надежда изошла.
Я — минарета тень на ряске пруда,
Что бабочками утра расцвела.
Меня не существует. Я — поэма,
Которую ты так и не прочла.

Ашраф, ты думал, что идёшь за светом?
Ты только тень, и ждёт тебя лишь мгла.

.

.

КОЧЕВНИК И ГОРОД

Я жил в степях, где небеса — шатёр,
Где ветер — страж, сухой ковыль — ковёр.
Я знал, что город — тёмный лес из камня,
Где не смогу я развести костёр,
Где встречные как будто спят в движенье,
И их глаза закрыты с давних пор.
Они не видят над собой созвездий,
Стремнины быстрых рек, вершины гор...
Я словно крикнул им: «Смотрите, люди,

Как много троп, каков вокруг простор!»
А мне в ответ: «Ты пьян. Своей дорогой
Иди. Твой Бог — мираж, а правда — сор».

Ашраф, не спорь с камнями, возвращайся
Туда, где неба синь ласкает взор.

.

ЧЁТКИ ИЗ ПЕСКА

Я четки сделал из песка пустынь,
Чтоб помнить то, что вечности я сын.
Но пальцы разожгли в часы молитвы
Песчинки в жемчуг, в перламутр и синь.
И каждая песчинка — тихий голос
Земли, где я родился, падал в стынь.
Я вслушиваясь, ждал в скитаньях долгих,
Когда песок заговорит: «Прости
Меня за то, что был к тебе жестоким,
Скрывал от глаз твоих надежд пути».
Я четки сжал, и пальцы стали пылью,
И в пыли той — все тропы, как в горсти.

Ашраф, забудь про счёт и про молитву.
Песок пустыни о себе спроси.

.

.

МОСТ ИЗ ВОЛОСКА

Тот мост, что в Рай, он тоньше волоска,
Острей всех лезвий режет облака.
Не праведники по нему проходят,
А те, кто понял: жизни цвет — тоска.
И каждый шаг — паденье, а молитва —
Расколота вдребезги строка.
Тем не спастись, кто думал, что рассудок —
Надёжная и крепкая рука.
Идут хмельные, нищие, слепые,
Дороги пыль сердцам их дорога,
Отчаявшиеся, в худых одеждах,
Идут к нему, спешат издалека.

Ашраф, твой разум — проводник уставший.

Ступай на мост, он ждёт давно тебя.

.

ПТИЦА И КЛЕТКА

Я птицу запер в клетку из костей,
Дал пить и зёрен несколько горстей.
Я думал, что владею ей по праву,
Но птица петь не стала для гостей.
Она смотрела с грустью сквозь решётку,
Как пленница, что с воли ждёт вестей.
И как-то утром я открыл ей дверцу,
Сказал: «Будь вольной, улетай скорей».
Она на ветку сев, мне спела песню —
Так, словно я был царственных кровей.
О, как в ответ моё забилося сердце,
Как захотелось быть подобным ей...

Ашраф, твой Бог не в клетке догм и правил,
Он — птица, что поёт в груди твоей.

.

.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я возвращаюсь в город, где родился,
Но город пуст, он сильно изменился.
Дома стоят, но окна их темны,
И сад зарос, где в детстве я резвился.
Я подхожу к калитке, и она
Сама открылась — словно поклонилась.
За ней — старик, он улыбнулся мне,
Как фитилёк, во мгле дрожал, светился.
«Ты ждал меня?» — спросил я у него.
«Не я... Не я...» — мой голос с эхом слился.
И понял я: старик — во мне, я — в нём,
Я умер им, он снова мной родился.
Ашраф, прими кружение дней и лет.
Ты дома. Всё. И круг твой завершился.

Притча о зеркале мавританской принцессы

В Гранаде, где фонтаны плачут, будто влюблённые под луной, жила принцесса Зухра, чья красота была опаснее клинка, заточенного в Дамаске. У неё было зеркало, выкованное из сплава серебра и лунного света, в оправе из сандалового дерева, на которой алебастровые розы цеплялись за перламутр, подобно душам грешников цепляющимся за края рая. Но однажды зеркало перестало отражать её лицо. Вместо него в глубине, словно в колодце забвения, являлись зыбкие тени: то силуэт старой служанки, стирающей грязь с мраморных плит, то образ юноши-поэта, чьи стихи сожгли по приказу её отца, то просто пустота — густая, как смола, вытекающая из разбитого сосуда. Принцесса пыталась протирать зеркало, но оно, словно насмехаясь, показывало ей всё новые видения: вот её свадебный балдахин, сотканный из паутины, вот её дети, которых не будет, вот её старость, похожая на одинокого верблюда в песчаной буре. И тогда она поняла: зеркало не лгало. Оно отражало то, что было внутри — её одиночество, пустыня, в которой даже эхо умирает, не долетев до скал. «Красота без любви — это сад без воды», — прошептала она, вспомнив древнюю мудрость, и разбила зеркало. Но осколки, падая, продолжали отражать её тоску — теперь уже в тысяче граней, словно тысяча глаз, смотрящих из тьмы. Так и душа, лишённая любви, становится зеркалом, в котором никто не хочет увидеть себя.

Притча о купце и медном кувшине из Феса

Был купец, чьё сердце, словно сундук с потёртыми замками, хранило только звон золота да шёпот несбыточных желаний. И вот однажды, когда он рылся в лавке старьевщика, будто джахель, ищущий просветления в пыльных фолиантах с выцветшими буквами, взгляд его упал на кувшин, древний, подобно забытые сны Феса. Печать на нём была таинственна — не то рука мастера, не то знак джиннов. «Внутри — ифрит, — подумал купец, — он наполнит мои кошельки и они станут тяжелее, чем тучи перед ливнем, посадит меня на трон из сандала рядом с султаном, а женит на той, чьи глаза — словно два озера в аль-Андалусе!» Но когда он сорвал печать с треском, будто лопнувшая струна удда, из кувшина вырвался ветер — не самум, а лёгкий, как вздох ребёнка. И в нём не было дыма превращений, а только имя: «Я, Юсуф ибн Закария, горшечник из квартала аль-Куляль, лепил этот сосуд руками, шершавыми, будто кора тальха, и вкладывал в глину не золото, а терпение. И был счастлив, ибо Аллах дал мне ремесло, а не жадность, что съедает душу, быстрее чем ржа — лезвие ханджара.» И купец упал на колени, будто перед киблой, но не нашёл в себе молитвы. Ибо имя мастера было зеркалом, в котором он увидел себя — человека с пустыми руками, хотя они были полны динаров.

МАРОККО

«Спрашивают: почему улицы Феса столь узки? Отвечаю: дабы души встречных, соприкасаясь плечами, обменивались теплом своим, ибо на просторе душа растекается и холодеет. И почему дома обращены вовнутрь, ко двору? Дабы богатство духа, как вода в фонтане, копилось внутри, а не выплескивалось на улицу, где его поглотит пыль. И почему так высоки стены? Не для защиты от врага, а для того, чтобы отсечь суету мира и создать небо собственное, обрамлённое карнизом, на котором сидят голуби, ведя беседы, понятные лишь тем, кто отринул шум.» (Аль-Хаким, Асрар аль-Мимар/Тайны архитектора, 1873)

Фес. Последний водонос

Сначала звук — скрип кожи бурдюков,
За ним — вслед по базальтовой брусчатке
Цок-цок копыт... Ритм улиц? Опечатки
Эпох прошедших? Древних городов?
Старик в джеллабе цвета пыльных окон,
А рядом — ослик-друг коротконогий,
Последний в жарком Фесе водонос,
Бредущий сквозь столетья одиноко...
Цок-цок... кварталы напрягают слух,
Свершён подъём по лестнице Азлу.
На двадцать две ступени ближе к небу
Стать на мгновенье. Вознести хвалу:
«Э-э-э-шшаа!» — и опять по кругу,
По пятнам света утекать во мглу.

.

«И вот они кладут асфальт на улицу аль-Аттарин, и смрад горячей смолы заглушает запах пряностей, и чёрная, липкая река покрывает древние камни, скрывая их навеки. И вижу я в этом акте великую аллегию: так покрывают сердца наши плёнкой мирских забот, дабы не чувствовали они неровностей истины, дабы скользили по жизни, не цепляясь за швы между эпохами. Но придёт знойное лето, и асфальт размягчится, и отпечатается на нём след босой ноги ребёнка, и след колеса телеги, и это будет бунт памяти, на миг прорвавшийся сквозь гладкую, бездушную корку нового времени.» (Мухаммад аль-Мокри, Хаваталь / Кошмары, 1932)

«Пишу я эти строки карандашом, купленным в лавке у Баб-Гиса, и грифель этого карандаша — спрессованная пыль Феса, смешанная с графитом, и когда он скользит по бумаге, он оставляет пыльный след, и буквы, им начертанные, вот-вот разлетятся от дуновения. И такова наша современная речь: хрупкая, временная, лишённая веса и пергамента. Мы пишем пылью о пыли, и рука наша, дрожит, держа лёгкую щепку, и зная о том, что любой след стирается ластиком забвения.» (Абдельхамид Зуглули. «Аль-Калам аль-Маджзу» / Сломанный карандаш, 1956)

Фес. Шагреневая кожа

Моя шагреня в квартале Шуара
Ещё не погрузилась в известь чана.
Ещё живёт душой пастушьих станом,
Атласских склонов слушая ветра.
Ещё не отделён от кожи волос,
От сути — плоть. Ещё не истекли
Три лунных цикла. Не нашли любви
Те, кто о ней молили в полный голос.
Ещё ножи безмолвных скорняков,
Счищают память и остатки снов
До равномерной, уязвимой глади,
Открытых пор, готовности слоёв
Впустить в себя дубильных соков вязкость...
А я о ней уже мечтать готов.

.

«Берег здесь низкий и песчаный, непригодный для крепости, но идеальный для причала. Ветер дует с запада, неся запасы влаги и семена растений с далёких островов. Геометрия места предопределяет его судьбу: здесь нет неприступной медины, как Фес, здесь всё — распахнутые ворота, раструб, втягивающий в себя мировой океан. И люди, которые селятся здесь, имеют характер не стражей, а толмачей, посредников между глубиной материка и бездной моря.» (Мухаммад аль-Караджи. Таквим аль-Булдан / Описание стран. 1920)

Касабланка. Португальская крепость

Фундамент португальского редута
Остепенил дрожь ожидания дней,
Способных вытравить нарыв огней
Причальных стен, сыпь, схожую с кунжутом,
Рассыпанным в базарной толкотне,
Ворвавшейся в спокойный мир извне,
Из будущего, ослеплённой Касбы,
И замершей на выцветшем окне
Заката... Неба, боли, кровотока
Со стороны людского моря, сроком
Познания измученной души —
Не мыслью о судьбе, печалью Бога, —
Отринув лай сторожевых собак,
Рулады синих волн и пыль дороги.

.

«Проезжая через селение Дар аль-Байда, что находится под защитой старой португальской крепости, я видел, как мирно живут здесь потомки андалусцев, берберов и африканцев. Их мечеть мала и скромна. Но их истинная вера — в умении читать горизонт. Старый рыбак, чинящий сети на солнце, видит в узоре ячеек не ловушку для рыбы, а карту звёздного неба и морских течений. Его молитва — это бросок сети в нужном месте в нужный час. Его тарикат — это знание времени прилива, его зикр — это ритмичное подтягивание каната, его кашф (озарение) — это серебристая вспышка косяка сардин в зеленой воде. Их вера не нуждается в завийях, их ханака — это сама лодка, качающаяся на волнах.» (Пьетро ди Джакомо. письмо в Геную, 1888)

Касабланка. Город плоских крыш

Откуда здесь подобный стону гул
Сирены танкера, который, словно
Слепой левиафан, ползёт в ночи
По волнам к нефтяному терминалу
Мохаммеди? Откуда здесь печаль
Поджарого, седого финикийца,
Забывшего родные берега,
Обломки не догнавшей солнце, кумбы?

Плач андалузца, меркнувший огонь
На мысе Спартель, хриплый выдох горца
С далёких Риф? Откуда взялся голос
В чужих краях, моих земных надежд,
Отметив город равных перед небом?
Откуда здесь подобный гулу стон?

.

«Этот проклятый, прелестный город! Его дома, словно стая белых птиц, спускаются по склону к самой воде, и каждое утро я просыпаюсь от того, что море бросает солнечные зайчики прямо на потолок моей спальни. Вся жизнь здесь — сделка. Даже свет торгуется с тенью, отступая и наступая в узких переулках Медины. Даже запахи: жареной рыбы, козьего помета, амбры и гниющих фруктов — все смешивается в один густой, дурманящий аромат, от которого кружится голова. Здесь нет истины, но есть бесконечный обмен: мои дукаты — на его ковры, мои европейские новости — на его восточные сплетни, моя душа — на вечную, коварную улыбку и чашку мятного чая...» (Ян ван дер Линде. Личный дневник. 1898)

Танжер. В кафе «Париж»

За дальним столиком из палисандра
Легко развеять вечную хандру.
Сменила африканскую жару
Под вечер европейская прохлада.
Легко забыть привычек мишуру
И раствориться в золоте заката,
Смотря, как из-за мыса Малабата
Паром ползёт, вздыхая, в Тарифу.
Как на алтарь ночного Гибралтара
Кладутся агнцы звёзд, иного дара
Не ведая, чтоб соблюсти игру
В законы ночи и небесной кары,
Пока созвездий пёстрые отары,
Бредут по чёрным пастбищам в зарю.

.

«Танжер — это город, где Восток не просто встречается с Западом, но где они пьяно обнимаются, спотыкаются и падают в грязь вместе. В кафе „Париж“ на улице Сиуа за одним столиком сидят французский поэт, томящийся сплином, марокканский шпион в потёртом сюртуке и русский авантюрист с безумными глазами — и все они обсуждают последнюю скачку в Ньюмаркете. А на следующее утро того же шпиона можно увидеть в лохмотьях, спящим на ступенях Мендубии, и ничто не выдаёт в нём вчерашнего денди. Этот город — великий переодеватель, мистификатор. Он даёт вам маску, а потом незаметно прирачивает её к лицу, и вы уже не можете отличить, где игра, а где ваша собственная, изменившаяся суть.» (Уолтер Харрис. *Geographical journal*. 1895)

Марракеш. Вилла Мажорель

Сад Мажорель, листья бугенвиллеи...
Красивое начало. Неба лик
Преобразился в кобальтовый крик
Среди зелёных шёпотов аллеи.
К цветам лантаны льнёт жужжанье пчёл.
Пруд с лилиями, как накрытый стол,
А яства — сладость запахов покоя
Души, что стала капельками смол
В коре высоких пальм, потоком света,
Украшившим узором каждый ствол.
Под сенью папоротников, чьи вайи
Подобны перьям птиц, шалтай-болтай
Улиток спят на розовых ветвях,
Поверив в то, что оказались в рае.

Рабат. Звуки города

Рабата семислойная гортань,
Опухшая от кускусного пара
Из форточки пекарни «Дар аль-Бага»,
От жара в сердце марокканских бань.
Но всё равно: то голосом торговца
Айвой печёной, резким словом горца,
Ребёнка криком, жалобной мольбой,
Пытается спастись в тени от солнца.
Все звуки словно шумовой пирог:
Домов, дворов, иных пространств, дорог
Звон колокольчика над дверью лавки,
Шипящий в медной лампе фитилёк,
Мопеда рёв, скрип деревянной ставни...
Но откусив, не прожевать кусок.

Тетуан. Город слепленный из облаков

Семь врат. Из них я б выбрал Баб-эль-рук —
Ворота очищения от скверны,
Хотя и этот путь отверг, наверно,
Спустившись вниз, как облачный паук.
Раскинул сети по ущельям вади,
По улицам из призрачной Гранады
Перенесённым в памяти тюках,
В них видя андалусские фасады,
Резной орнамент, стиль «наскар», лозу
Из Альпухарры, первую слезу
В глазах ребёнка беженцев. Извилист
Побег из мира в неба бирюзу.
Полёт навстречу. Мой, ещё есть время
Его скрепить с оттенками азур.

Мекнес. Головоломка тариката

Любые стены — временная форма
На теле вечных, кочевых путей
Мгновений — собирателей теней,
Иллюзий жизни перед страшным штормом.
Слепая зона — в десяти шагах
От центра «я», и только пыль в глазах,
Карт пастбищ и сезонных переходов,
Писаний о неведомых делах.
Двенадцать тысяч лошадей в конюшне?
Развал лотков на площади Хедим?
Оливковое дерево Султана,
Измеренное зреньем боковым?
Всё ждёт конца, всё ищет выход боли,
Готовясь превратиться в чадный дым.

Агадир. Ожидание землетрясения

Сто тысяч белых звёзд на красной глине
И длится дольше, чем двенадцать лет,
Час, проведённый в городе комет,
В цветущей апельсиновой пучине.
Дар речи потеряв наполовину,
Тоски в душе хочу понять причину,
Мощённый жёлтым туфом страх дорог
И старого Касбаха ломкость линий.
Внутри меня как будто зреет плод
Землетрясения в шестидесятом,
Пометив наступающий черёд
Штрихкодом с неразборчивою датой
Над изразцами мавританских вилл,
Следами гусениц в кресте с распятым.

Агадир. Обретение знания

Сначала — терпкий аромат полыни,
Растущей на развалинах мечты.
Урок камней, спиреи лоскуты,
Вовеки незаметные отныне.
Долина птиц, тенистый сад Альян —
Учителя без знания предмета.
А сам предмет, в котором тонны света, —
Смысл знания — пассив тревог, изъян
В мозаике растущих дней, принявших
Не благодать, а «не смотря на то»,
Табличку с осторожным знаком «stop»
Для всех случайных, в Боге пострадавших.
Пока заходит солнце в цвет бардо
Амоном Атлантиды, сказкой ставшей.

Уджа. Бродячие музыканты

«Жальват дар энджоман»*. Прости, опять
Заговорил на непонятном, зная,
Здесь ближе всем молчание ягнят,
Мифических существ из пыли стая
Из тел своих слепившая редут
Вокруг бродячих музыкантов «шая»**...
Прости, опять я искажаю суть,
В других мирах, в иных веках витая,

Мелодий тех, которые роднят
Газели Марини с тропой утрат,
С видением источника Ла-Сфайя,
С тем, что нашёл в мерцанье звёздном взгляд,
В едином звуковом потоке веры,
Летя вперёд и не смотря назад.

* *жальват дар энджоман* — священное молчание

** *шая* — дар Бога

Притча о купце и глиняном кувшине из Феса

Был купец, чьё сердце, словно сундук с потертыми замками, хранило только звон золота да шепот несбыточных желаний. И вот однажды, когда он рылся в лавке старьевщика, будто джахель, ищущий просветления в пыльных фолиантах без букв, взгляд его упал на глиняный кувшин, древний, подобно забытым снам Феса. Печать на нём была таинственна — словно знак джиннов, что живут между строк Корана. «Внутри — ифрит, — подумал купец, — он наполнит мои кошельки и они станут тяжелее, чем тучи перед ливнем, посадит меня на трон из сандала рядом с султаном, и женит на той, чьи глаза — словно два озера в аль-Андалусе!» Но когда он сорвал печать, то с треском, будто лопнувшая струна удда, из кувшина вырвался лишь ветер — не самум, а лёгкий, как вздох ребёнка. И в нём не было дыма превращений, а только имя: «Я, Юсуф ибн Закария, горшечник из квартала аль-Куляль, лепил этот сосуд руками, шершавыми, будто кора тальха, и вкладывал в глину не золото, а терпение. И был счастлив, ибо Аллах дал мне ремесло, а не жадность, что съедает душу, быстрее чем ржа — лезвие ханджара.» И купец упал на колени, будто перед киблой, но не нашёл в себе молитвы. Ибо имя мастера было зеркалом, в котором он увидел себя — человека с пустыми руками, хотя они были полны динаров.

Притча о купце и тени финиковой пальмы

На рынке Марракеша, где воздух густ от аромата куркумы и лжи, а голоса торговцев сплетаются в узор хитрее чем на коврах из Феса, стоял купец, чьи пальцы, унизанные перстнями с сердоликом, перебирали финики сорта меджуль, сладкие, как грезы юности. И возжелал он продать не только плоды, но и тень пальмы, что падала на его лавку, прохладная, словно милость Ар-Рахмана в час полуденного зноя. И кричал он: «Купите тень, что укроет вас от огня дня!» — но люди только смеялись, проходя мимо... Когда же солнце склонилось к западу, а муэдзин запел «Аль-Аср», тень стала таять, как сахар в кипящем кумгане, и купец, схватившись за чаши весов (латунные, с гравировкой «Йа Карим!»), завопил: «Где же моя собственность?» А мудрая старуха, продающая хну у мечети Кутубия, лишь покачала головой, и браслеты на её руках звякнули, как колокольчики на шее ослика, везущего поклажу тщеславия: «О, слепец! Разве можно продать то, что принадлежит солнцу? Ты торговал ветром, пойманным в мешок, и вот теперь ночь взяла своё...» И тогда купец понял, что тень — это только гость между светом и тьмой, и что жадность его была подобна попытке удержать в горсти дым от кальяна...

ИХВАН АЛЬ-АВДА

«ИХВАН АЛЬ-АВДА» («Братья возвращения») — эзотерическое течение в арабо-андалусской поэзии и философии позднего Средневековья, существовавшее, согласно косвенным данным (рукописные фрагменты из собраний Эскориала, Тлемсена и Феса, инквизиционные протоколы начала XVI в.), в период с середины XIV по начало XVII в. на территории Гранадского эмирата и затем, после падения Гранады (1492), в тайных общинах морисков (крипто-мусульман, вынужденно принявших христианство) в горных районах Альпухарры и в изгнании в Северной Африке, преимущественно в Тетуане, Шефшауэне и Оране. Основу доктрины составляла циклическая концепция истории, восходящая к исмаилитской космологии и суфийской эсхатологии: семивековому периоду мусульманского правления на Пиренейском полуострове (711—1492) должен соответствовать семивековой период изгнания, скорби и тайного ожидания (1492—2189/90), после чего наступит сакральное «Возвращение» (аль-Авда) арабского духа в Андалусию, понимаемое не как политическая реконкиста, а как восстановление духовного и культурного присутствия. Поэтическая практика братства базировалась на канонизированной форме четырнадцатистишия (7 бейтов), трактуемой как числовой шифр (символика семерки — священных веков, небесных сфер, ступеней посвящения) и ключ к сокровенному смыслу истории. Тематически стихи, внешне принадлежащие традиционным жанрам (газель, хамрийят — застольная лирика, мадх — панегирик), содержали эзотерический подтекст — оплакивание утраченной родины (аль-Андалус как потерянный рай), шифрованное проклятие захватчикам и профетическое ожидание грядущего восстановления справедливости, когда «снова зазвучит азан на башнях Севильи». Следы влияния «Ихван аль-Авда» прослеживаются в поэзии альхамиадо (мавританские тексты на испанском языке арабской графикой), в диванах североафриканских мистиков XVII—XVIII вв., а также в философско-поэтических концепциях арабского модернизма XX в. (Мухаммад Беннис, Адонис, Махмуд Дарвиш и другие, обращавшиеся к образу Андалусии как к травматическому следу и культурному ориентиру).

Ибн Хазм ас-САБТИ (1435—1507)

КОЛЬЦО

Кольцо на пальце — маленькая вечность,
Оно хранит тепло, свой помня сон.
В нём золото — рождений бесконечность,
В нём камень, что из бездны извлечён.
С ним ты уже отмечен тайной меткой,
Звено цепи времён, что вьётся к предкам,
Им твой недолгий век запечатлён.
Но кольцами не держится река.
Кто мнит себя звеном, на самом деле —
Лишь рябь воды, что кольцами пошла.
Тростник сухой, прибрежный, пустотелый
Шуршит о том безумолчно века.
Сними кольцо — и ты уже не ты,
А в небе свет ещё одной звезды.

.

КУЗНЕЦ

Кузнец ударит — и летят осколки
Того, что ты считал своей душой.
Не бойся горна, не беги отковки,
В огне куётся Истины покой.
Ты будешь гнуться, будешь рваться в муке,
Но форма та, что выйдет из огня,
Достойна будет музыки Творца.
Как ум, пронизанный лучом Творца,
Металл в огне становится податлив.
Не бойся молота — цель кузнеца —
Ковать в огне, не в пепле созерцать,
Чтоб ты запел и песней той был счастлив.
Перетерпи, прими судьбы удар,
В котором скрыт не гнев — небесный дар.

Абу-ль-Хасан ас-САНИ (1448—1527)

Очаг горяч, но холод не уходит,
Он в кости вьелся, не на день — на годы.
Я грел ладони у огней чужих,
Чужого неба, чуждой мне природы.
Но холод тот — не от зимы, о нет, —
От боли в сердце, от разлуки с садом,
Что цвёл семь сотен лет, как сорок лет.

И где теперь искать мой зыбкий след?
На пепле, на обломках, серых плитах,
Где каждый камень — бывший минарет?
Печь горяча, в ней прогорают годы,
И сердце ждёт рассветов новых своды,
Означенных в сердцах грядущим днём,
Где семь веков сольются с каждым сном.

Земля под нами терпит наши войны
И прорастает травами мольбы.
Скажи, мой брат, а мы с тобой достойны
Взять горсть земли для вечной ворожбы?
Не ты ль ходил по ней, не ты ль, мой брат,
Вбивал клинки в живую плоть земную?
Она вздохнёт — и стебли заскорбят?..

Земля всплакнёт — с дождём придёт Всевышний.
Мы топчем прах тех, кто в ней спит давно,
Мы строим башни из смешенья с глиной
Теней пророков, нам же всё равно.
Земля взрастит цветы любви, не камни.
Когда ж придёт Великий День, она
Нас возродит в сыновних одеяньях.

Печь в доме — сердце. Если печь остыла,
То дом не дом, а тусклый хлад могилы.
Огонь в печи — как вера в темноте.
Он греет плоть, но душу — лишь в той мере,

В какой ты сам даёшь гореть мечте,
Не превращая сердце в камень серый,
Не отдавая сердце вечной тьме.

Печь может тлеть, но не давай погаснуть,
Подбрось поленьев — накорми огонь.
Пока есть жар — не кончен разговор.
Пока он жив, жизнь наша не напрасна.
Грей руки у огня, но помни, брат,
Что жар души ценней, чем дом и сад,
И потерять его всего опасней.

Дакик аль-ХАДИД (1510—1558)

ВИНОГРАДАРИ

С утра ногами давят виноград,
И сок течёт, как в жертвенные чаши, —
Кровь тайных знаний, кровь земных утрат.

Топчи — в вине найдёшь ты тайну плоти,
Что отдана на растерзанье нам,
Чтоб с каждой каплей, с каждым поворотом
Мы приобщались к вечным временам.

Топчи, душа, свой виноград, не бойся,
Вином любви в закатах успокойся,
Будь мят и давлен, будь раздавлен в прах,
Чтоб стать питьём для жаждущих впотьмах.

Когда срезают гроздь, лоза не плачет, —
Она поёт, поёт в Его устах,
Что скоро станет светом в мире зрячих.

Яхья Аль-МУТАРАДЖИМ (1601—1688)

ПЛАЧ РЕБЁНКА

Ребёнка плач — он чище всякой песни,
В нём фальши нет, в нём нет игры с собой.
Он входит в мир, ещё не ставши тем,
Кем станет после — праведником честным,
Царём, поэтом, нищим безызвестным, —
Он просто плачет, требуя любви.
В том плаче — боль и жалоба земли.

Не заглушай дитя, не говори:
«Молчи, не плачь, не смей, лить слёз не надо».
В его слезах — исток иной зари,
Готовой воссиять, даря всем радость,
Любовь и говорить в рассветах правду.
Так плачь, дитя, смой грязь, людскую злость,
Ведь ты пришёл, как самый щедрый гость.

.

ПАМЯТЬ ПЕСКА

Песок пустыни помнит шаг верблюжий,
След первого пророка, след пастуший,
Он помнит боль рождения стиха,
Когда в ночи, разорванный снаружи,
Пловец Значенья выплыл из греха,
Чтоб стать огнём, что душит, а не сушит,
Что помнит вкус воды в твоих устах.

И Имя, пав, рассыпалось на буквы,
И ту мольбу, что навсегда срослась
С гортанью птицы, улетевшей к югу.
Мы пишем на песке — но стих наш стёрт,
Но Тот, кто был в начале, помнит всё.
Аллах велик: Он создал нас из праха,
Чтоб прах учил нас не бояться страха.

.

Песок не лжёт — он сух, и он хранит
Все тайны, что зарыты в толще плит.
Я сам лежал щекой на нём ночами
И слышал я, как шепчутся пески

О том, что под тяжёлыми ступнями
Небес всё то, что существует — пыль,
И всё, что только будет, — тоже пыль.

Но временность — не приговор тоски,
А воплощение в вечности пути
Всех стёртых дней, всех стёршихся мгновений.
Я встал. Вот след того, что я здесь был,
Что я, уйдя, следов оставил тленье,
Раздутое ветрами продолжение
Моей судьбы в ночных огнях светил.

.

ПАРУС ДУШИ

Вздых умирающего — тихий ветер,
Что наполняет паруса души,
Что поплывёт по Млечному Пути,
По тьме ночей в далёкие рассветы.
Не посади на цепь земных заветов,
Не променяй на медленные дни,
Позволь, растаяв в вечности, быть светом.

Тот вздох — он тих, но в нём такая сила,
Что гнутся тропы мира, как тростник,
И даже та, что небо оседлала,
Величие его поняв, поникла.
Когда душа покинет этот мир,
Она возьмёт лишь то, что надышала.
Аллах акбар! Вдох — это Твой язык.

Притча о мудреце и скорпионе, или почему зло остается злом, даже если ему протянуть руку, полную света

Был в древнем Багдаде мудрец, чье имя стерлось из памяти людей, ибо он сам стер его, как стирают с доски ученика неверные письма, дабы оставить место для истины. И вот, шел он однажды вдоль берега Тигра, воды которого текут подобно времени — неспешно, но неумолимо, и размышлял о том, почему одни души, подобно финиковым косточкам, падают в благодатную почву и прорастают древами милосердия, а другие, словно камешки, брошенные в колодец, лишь глухо стучат по стенкам вечности, не оставляя следа. И увидел он скорпиона, упавшего в воду, который бился в волнах, словно грешник в пламени своего собственного гнева. И хотя знал мудрец, что скорпион — дитя яда, что жало его — страшнее злословия завистника, острое и неизбежное, он все же протянул руку, дабы спасти тварь, ибо сердце его было мягче воска, на котором пишут суры Корана. Но едва коснулся он скорпиона, как тот вонзил в него жало, и боль пронзила мудреца, подобно мечу фанатика пронзающего неверного. И спросил мудрец, не с упреком, но с печалью, словно отец, видящий, как сын его губит себя:

— Почему ты меня ужалил, когда я хотел тебе добра?

И ответил скорпион голосом, похожим на шелест высохшего листа:

— Потому что я скорпион. Ты знал мою природу, но все равно протянул руку. Разве твоя мудрость не должна была предостеречь тебя?

И тогда мудрец улыбнулся, ибо понял, что даже в этом яде заключен урок: нельзя ждать от тьмы, чтобы она стала светом, от змеи — чтобы она перестала шипеть, от злого сердца — чтобы оно забилося добротой. Ибо так устроен мир: финиковая пальма не родит виноград, а колодец с соленой водой не станет сладким, сколько ни черпай из него.

Притча о купце, который купил ветер

Был в Басре купец по имени Джафар, чьи корабли бороздили моря от Андалусии до Индостана, чьи склады ломились от шёлка, благовоний и драгоценных камней, но чья душа, иссохшая, подобно финиковой косточке, жаждала обладать тем, чего не касалась рука смертного. И вот однажды, когда жара плавил город, подобно воску в руках небрежного свечника, пришёл к нему старик с лицом, изборождённым трещинами, будто глиняный кувшин, забытый под ливнями времени, и сказал: «О, искатель сокровенного, я продам тебе ветер — тот самый, что шепчет тайны пророкам, что качает колыбель мира, что уносит души усопших в сады вечности». Джафар, ослеплённый гордыней, рассмеялся и смех его был похож на медные монеты, сыплющиеся на дно пустого кувшина, но старик развязал мешок из верблюжьей шкуры, и вдруг — о чудо! — в его ладони заплясали знойные вихри, прохлада с гор, шепот пальмовых листьев из далёких оазисов. «Сколько?» — воскликнул купец, уже видя, как ветер гонит его корабли без парусов и сам он становится повелителем незримого. Старик попросил взамен все его богатство, и купец, ослеплённый жаждой обладания, согласился. Старец протянул ему кожаный мешок, стянутый шнуром, сплетенным из белой и черной нитей, и прошептал: «Только не развязывай его, пока не достигнешь вершины горы Аль-Каф, ибо ветер — дикий конь, и узда ему — терпение». Но разве может купец, привыкший владеть вещами, удержаться от обладания? Едва старик растворился в мареве базара, Джафар развязал мешок — и тут же песок пустыни, подхваченный вихрем, взметнулся ему в лицо, ослепил, забил рот и уши, а когда он пришёл в себя, мешок был пуст, а в его ладонях осталась горсть песка — жёлтого, словно насмешка. И тогда купец понял, что купил не ветер, а мысль о ветре — неуловимую, словно тень на воде. Его корабли встали без движения, караваны затерялись в песках, ибо он променял суть на призрак сути, ведь тот, кто гонится за дуновением ветра, в конце концов остаётся с пылью на губах.

ПТИЦЫ НА ШЁЛКЕ (2)

.

Ночной покой окутал мир усталый,
Спит в конуре с собакой ветер шалый...
Налю себе ещё бокал вина.
Того, что вижу за окном, мне мало.
Блажен, в ком грусть мечтой побеждена,
В ком памяти печали замолчали,
В ком жизнь любым мгновением ценна,
И в каждом дне есть новые начала,
В ком всё не кое-как, а всё сполна.
Представлю: не окно, а край причала,
Внизу играет светлая волна,
И рыбаки уходят за кефалью
Туда, где даль небесная темна,
Отчётливей вечерних звёзд сигналы...

.

Танцуют капли ливня на стекле.
В них вижу я то рыб, то журавлей.
Закончился тот танец — сто жемчужин
Ещё сверкают долго на стекле.
Но день прошёл, слой пыли покрывает
Вечерний город — всё в осенней мгле:
Грохочущие красные трамваи,
Скамейки в парке, листья на земле.
Уверенности нет ни в снах, ни в слове,
В свечном, ещё чадающем фитиле.
Скорее бы зима сплела узоры
Волшебных роц на ледяном стекле
Придуманного каменного дома
В каком-нибудь не здешнем декабре.

.

В чём жизни смысл? Где мне искать ответ?
Он скрыт во мгле, как звёзд бессчётных свет?..
Он тайна? Для каких же испытаний
И для каких невидимых анкет?..

Кипит в котле смола для днища лодки,
Готовится ореховый щербет,
Наносится на медь узор чеканный,
Сетар умолк... У всех есть свой секрет.
Гончар ли глину облекает в форму,
Из глины слов слагает гимн поэт,
Пастух отару гонит с горных пастбищ
К лугам низин. Всё оставляет след
В мгновении — и только. В нём и только:
Смысл жизни — быть счастливым. Разве нет?

.

Мечтают о несбыточном трамвае,
Забитые в сырую землю сваи,
Мост через реку, лодка в камышах...

Спроси: откуда я об этом знаю...
Скажу: всё это примечает в снах
Живущий в них бездомный, тихий ангел.

Несбыточное — светлых мыслей прах,
Замешенные в ночь с собачьим лаем
Сомнения, обиды, детский страх,
Бессонница, тень на стекле чужая,
Холодная, как зимний след в полях,
Бескрайняя, как путь из ада к раю,
И тонущая в мутных зеркалах
В несбыточном от края и до края.

.

.

Недолго ждать — поглотит мир пучина...

— Скажи, мудрец, в чём смысл, тому причина:
Ты дерево сажаешь у тропы,
Откуда зримы древние руины?..

— Мои глаза не видят прежних бед,
Не видят тонких нитей паутины,
Но чувствуют рассвета тёплый свет
И синее дыхание глициний.

Пока во тьме вселенской не погас
Хотя б огонь одной звезды, лучины...

Я жить хочу и верить в каждый час,
Дарованный с гудением пчелиным,
С полётом птиц и с шелестом листвы,
С тоской Творца и с блеском влажной глины.

.

Шумит тростник. Звезда всех звёзд зажглась.
Журчит вода. Река всех рек сплелась
С мерцанием звезды непревзойдённой.
Умолк сверчок. Душа всех душ сбылась.

И каждый крест, печалью окаймлённый,
К земле пригнулся, с осенью смирясь.
И каждый лист, надеждой окрылённый,
Летит с дрожащей веткою, простясь,
На землю с тополей, берёз и клёнов,
Где ждёт тень всех теней, их не таясь.
И эхо, как зайчонок несмышлёный,
Запрыгает по рощам, веселясь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.